ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

М. В. ПАНОВ

О ПРЕПОДАВАНИИ «ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

Задачи курса «История языкознания» достаточно сложны. Он должен показать непрерывность лингвистической традиции; объяснить взаимодействие и связь собственно лингвистических убеждений и мировоззрения; нарисовать историю взаимодействия языкознания с другими науками; изучить борьбу школ и течений, постепенную разработку новых приемов лингвистического исследования; исследовать процесс создания, причины возникновения и смены научных концепций; оценить значительность каждого вклада в науку, сравнивая его не только с современностью, но и с «предшественностью»; проследить общие закономерности в изменении лингвистических идей. Надо, иначе говоря, установить закономерности развития лингвистической науки. В зависимости от особых педагогических задач этот курс может приближаться к другим курсам, взаимодействовать с ними. В университете он близок по задачам к курсу «Общее языкознание», на ифаках педвузов связан с курсом «История грамматических учений», на литфаках тех же педвузов он стоит в одном ряду с курсами «История критики», «История педагогики» и т. д. Но, взаимодействуя и кооперируясь с этими дисциплинами, курс «История языкознания» всегда сохраняет свою самостоятельность, свои особые внутренние задачи.

В дальнейшем я остановлюсь на тех вопросах, которые возникли при чтении лекций по курсу «История отечественного языкознания» на факультете русского языка и литературы педагогического института[1].

*

Очень часто мы в любой лингвистической дискуссии стараемся найти борьбу материализма с идеализмом. Иногда это удается сделать только путем целого ряда натяжек. Нет никакого сомнения, что борьба материалистической и идеалистической мысли в языкознании — важная сторона истории этой науки, но к ней не сводится вся история языкознания. Философское истолкование фактов языка важно и необходимо; но для языкознания это только одна сторона дела — есть и собственно языковедческое их истолкование; языкознание связано с философией языка, но не растворяется в ней.

Все мы считаем — думается, с основанием — материалистическими взгляды М. В. Ломоносова, высказанные им в «Первом наставлении» его «Российской грамматики». Но эти материалистические взгляды не встретили в языкознании противодействующей критики; критика труда

[1] Лекции читаются в качестве спецкурса.

Ломоносова в последующей традиции пошла по иной линии; спорили о его видо-временной схеме глагольных форм, о правильности грамматических норм, указанных Ломоносовым, и т. д. С другой стороны, идеалистическая философская концепция А. А. Потебни, построенная на основе языковедческих исследований, в языковедении тоже не породила никаких дискуссий. Философский вывод, что имманентно развивающийся язык направляет развитие национальной мысли, порождает индивидуальные явления науки и искусства каждого народа, — этот вывод оказался бесплодным для языкознания и был оставлен в тени. Языковеды спорили с А. А. Потебней по вопросам, не связанным с борьбой двух философских течений. Таким был, например, вопрос о фонетических законах; такими были вопросы: являются ли смены грамматических конструкций, которые устанавливал А. А. Потебня, подлинными сменами или это образования синхронные; действительно ли взаимосвязаны и взаимообусловлены два движения в синтаксисе: усиление «синтаксической перспективы», т. е. дифференциации членов предложения, и увеличение «слитности», синтаксического единства предложения? А это все проблемы, не связанные с основным вопросом философии о первичности духа или материи.

С. Д. Никифоров писал: «Идеалистическое толкование категории наклонения находим у М. Н. Петерсона: «Форма наклонения выражает отношение говорящего к мыслимости явлений, о которых говорящий сообщает. Явления эти могут мыслиться как действительно происходящие... как требуемые, желаемые...». Само собою разумеется, что в языке как важнейшем средстве человеческого общения категория наклонения выражает не «отношения говорящего к мыслимости явлений», а отношение обозначенного глаголом действия к реальной действительности»[1]. Каково же может быть отношение каждого данного действия к действительности? Очевидно, что это действие само есть «частица, клеточка» действительности. Никакого идеализма в определении М. Н. Петерсона (может быть, и не во всех отношениях удачном) обнаружить нельзя. Так же неудачны и попытки объявить субъективно-идеалистическими некоторые определения временных глагольных значений. Это было кратко и очень убедительно показано А. И. Смирницким[2].

Не будучи главной и единственно существенной стороной развития языковедения, борьба материализма с идеализмом все же очень важна в истории нашей науки. В результате энергичных поисков идеализма в лингвистических трудах, написанных до 1950 г., языкознание оказалось единственной наукой, не имеющей никакого материалистического прошлого. Знаменитые слова В. И. Ленина о солидной материалистической традиции в России мы относили ко всем наукам — к социологическим, философским (Белинский, Герцен, Чернышевский), к биологическим (эволюционисты от Каверзнева до Сеченова и Павлова), к точным, но не к языкознанию. Получалось, что материалистическую традицию в русской лингвистике представляли лишь М. В. Ломоносов (потому что его естественнонаучные труды материалистичны) и Н. Г. Чернышевский (он ведь автор философских, эстетических, публицистических работ, написанных в духе материализма).

Между тем материалистическая линия в русском языкознании гораздо более заметна. Материализм и идеализм очень часто борются в трудах одного и того же ученого. Например, в исследованиях Ф. И. Бус-

[1] С. Д. Никифоров, Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века, М., 1952, стр. 12.

[2] См. «Ин. яз. в шк.», 1953, № 2, стр. 109.

лаева можно найти столкновение той и другой философской традиции[1]. То же самое у И. А. Бодуэна де Куртенэ: с одной стороны, это «наивный материалист», как верно определил основную линию его философских взглядов Л. В. Щерба; с другой стороны, он иногда склонен был делать серьезные уступки идеалистам (за что ухватились многие «проработчики», раздувая, необъективно преувеличивая эту сторону его взглядов).

При исследовании философских тенденций в творчестве того или иного ученого необходимо отличать случайные оговорки от внутренне оправданных и подготовленных заключений. У А. А. Шахматова читаем: «Род. пад. имени означает, что представление, соответствующее имени, находится в пределах действия, выраженного глаголом, затрагиваясь им лишь отчасти... Твор. пад. имени означает, что действие совершается при помощи представления об этом имени, что это представление — орудие действия»[2]. Здесь легче легкого заметить неточность: не п р е д с т а в л е н и е — орудие действия. При желании можно сделать вывод: А. А. Шахматов по-махистски рассматривает действительность как представление; но ведь ясно, что это просто оговорка (может быть, сделанная под влиянием ходячей философской фразеологии); никаких последствий для дальнейшего изложения материала в книге она не имеет.

*

Положение лингвистики среди других наук очень своеобразно. Языкознание принадлежит к общественным наукам. Оно связано с философией, психологией, историей, социологией. Но от других общественных наук его отличает то, что оно исследует такое общественное явление, которое нельзя считать классовым, надстроечным или базисным. Отсюда — и сложность вопроса, в какой мере этапы развития языкознания можно делить на феодальный (дворянский), буржуазный, социалистический?

Классовая борьба находит отражение в языкознании. Не бескорыстной в социальном отношении была языковедческая деятельность, например, А. Шишкова, П. Греча. Но справедливость требует сказать, что все классики нашего языкознания — А. Х. Востоков, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов — в своих собственно языковедческих трудах не были защитниками той или иной узкой социальной группировки. Может быть, этих языковедов следует считать буржуазными учеными, поскольку их языковедческим взглядам присуща историческая ограниченность, связанная с буржуазным этапом развития общества? В этом случае необходимо определить, в чем заключается такая ограниченность и почему ее надо считать буржуазной. Каждый исследователь «ограничен» знаниями своей эпохи (некоторые из которых он сам помог добыть). Ф. Ф. Фортунатов, разумеется, не знал того, что стало известно советским исследователям. Дает ли это нам право говорить о том, что он представитель буржуазного языкознания?

Если напоминание о кадетских политических взглядах А. А. Шахматова помогает нам уяснить эволюцию его взглядов на происхождение русского аканья, на систему русских говоров, на типы синтаксического строения предложений, тогда такое упоминание должно быть сделано в курсе «История языкознания», а сам А. А. Шахматов должен рассматриваться как буржуазный языковед. В противном случае «кадетство» Шахматова останется фактом его личной, а не научной биографии. Серьезно

[1] Ср. критику материалистических сторон языковой концепции Ф. И Буслаева в рецензии А. [А.] М а й к о в а на «Историческую грамматику» Ф. И. Буслаева («Библиотека для чтения», 1859, ноябрь, стр. 13—18).

[2] А. А. Ш а х м а т о в, Очерк современного русского литературного языка, М., 1941, стр. 122.

и строго подходя к вопросу, мы в одних случаях, при анализе одних работ можем и должны говорить о буржуазном языкознании, в других — лучше обойтись без ярлыка.

*

В курсе «История языкознания» необходимо показать, как разрабатывались новые научные концепции, как создавались методы лингвистического исследования. Надо дать глубокий анализ борьбы мнений, теорий, школ, направлений в языкознании. Чем обусловлена эта борьба? Отчасти — наличием двух философских линий, отражающихся и в лингвистических исследованиях. Сами эти философские линии имеют, как известно, свои социальные и гносеологические корни. Но борьба материализма и идеализма только в некоторых случаях объясняет историческую смену мнений и теорий в языкознании.

Борьба мнений в языкознании иногда обусловлена самим развитием объекта изучения — языка. А. Х. Востоков в своей работе «Русская грамматика» впервые указал на важный грамматический признак предложения: необходимость спрягаемого глагола. Это определение было важным шагом в развитии теории предложения: до А. Х. Востокова (и долгое время после него) предложение просто приравнивали к суждению. Многие языковеды последующих лет определяли предложение по-востоковски («спрягаемый глагол и слова, с ним грамматически связанные»). В начале XIX в. назывные предложения только еще искали пути в литературный язык, не могли считаться нормой для него[1]. Для того времени определение Востокова было справедливым. Но развитие категории назывных предложений в языке показало ограниченность этого определения: оно оказалось верным лишь для известной эпохи, и последующие школы, в той или иной степени развивая и дополняя теорию предложения, должны были отказаться от односторонности определения, данного Востоковым. Борьба, возникшая вокруг этого определения, до известной степени была обусловлена изменчивостью, развитием самого языка.

Объем наших знаний о языке может увеличиваться и по другим причинам. Открытие новых фактов — одним они кажутся существенно меняющими дело, другие видят в них случайную аномалию — ведет к борьбе мнений, к созданию новых теорий. Известно, например, какое значение для языкознания имело изучение санскрита. Но есть еще причина, вызывающая борьбу мнений, и она — одна из важнейших: существуют определенные внутренние законы, по которым «развертываются» гипотезы или теории.

Энгельс так рисует этапы развития теоретической мысли: «Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодействий, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, возникает и исчезает. [Таким образом, мы видим сперва общую картину, в которой частности пока более или менее отступают на задний план, мы больше обращаем внимание на движение, на переходы и связи, чем на то, *что* именно движется, переходит, находится в связи]»[2]. Это «первое, наивное воззрение обыкновенно правильнее, чем позднейшее, метафизическое»[3].

[1] См. статью Л. Б. Перльмуттера «Назывные предложения и их стилистическая роль» («Р. яз. в шк.», 1938, № 2).

[2] Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1951, стр. 20.

[3] Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1950, стр. 224.

«Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения частностей, из которых она слагается, а пока мы не знаем их, нам не ясна и общая картина. Чтобы познавать отдельные стороны (частности), мы вынуждены вырывать их из их естественной или исторической связи и исследовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее особым причинам и следствиям и т. д.»[1]. Выходом из второго периода, периода познания «отдельностей», является третий (ступень отрицания отрицания), когда накопленный материал обобщается и осмысляется в его единстве, в его различиях и связях.

Многие взгляды в языкознании развивались по этому пути. Возьмем историю изучения вида и времени у глагола. М. В. Ломоносов считает временными формами одного глагола такие морфологические единицы: *бросаю — бросал — бросил — брасывал — буду бросать — брошу*; или: *пишу — писал — буду писать — напишу*. Для Ломоносова все это — временные категории, видоизменения одной величины. Видовые значения уже были очень тонко уловлены исследователем; об этом говорят такие характеристики: «Прошедшее неопределенное время заключает в себе некоторое деяния продолжение или учащение и значит иногда дело совершенное: *Гомер писал о гневе Ахиллесове*; иногда несовершенное: *он тогда ко мне пришол, как я писал...*»[2].

«Будущее неопределенное, — пишет далее Ломоносов, — значит будущее деяние, которого совершение неизвестно;...прошедшее и будущее совершенное значат полное совершение деяния»[3]. Таким образом, М. В. Ломоносовым уже было точно определено значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Но ряд временных видоизменений не был отграничен от ряда видовых изменений — они представлялись одним целым; видоизменения одной лексемы объединялись с видоизменениями другой лексемы (*плескал — плеснул*); не разграничивались синтетические и аналитические формы (*плеснул — бывало плескал*).

Все это было задачей следующего периода в развитии теории видов. Работы А. В. Болдырева, А. Х. Востокова, А. А. Потебни намечали все более и более определенно разграничение категорий вида и времени. Стремление оттолкнуться от ломоносовского учения и выделить, подчеркнуть категорию вида привело к изобретательным и интересным крайностям взглядов К. С. Аксакова и Н. П. Некрасова.

Последующая традиция, как будто, снова поворачивает к Ломоносову. И сейчас многие теоретики согласятся, что формы *бросал — бросаю — буду бросать — бросил — брошу — брасывал* принадлежат одной лексеме. Разница т о л ь к о в одном: в названиях этих форм. *Бросал* — не «прошедшее неопределенное», а «прошедшее несовершенного вида». Но это т о л ь к о — весьма значительно: новое название вобрало в себя долгий опыт языковедческих исследований и сопоставлений. А те лингвисты, которые не считают морфологические образования *бросил — бросал — брасывал* принадлежащими одной лексеме, указывают на сложные лексико-грамматические взаимоотношения между различающимися по виду глаголами, изучают видовые и временные категории в их многосторонних взаимосвязях как единую систему (но не внутри одной лексемы). И здесь вся совокупность глагольных форм изучается, как и в

[1] Ф. Э н г е л ь с, Анти-Дюринг, стр. 20—21.

[2] М. В. Л о м о н о с о в, Полное собр. соч., т. 7, М. — Л., 1952, стр. 480. Иначе говоря, «глаголы несовершенного вида выражают процесс без указания на его законченность» (Р. И. А в а н е с о в и В. Н. С и д о р о в, Очерк грамматики русского литературного языка, ч. I, М., 1945, стр. 166).

[3] М. В. Л о м о н о с о в, указ. соч., стр. 481.

эпоху Ломоносова, в ее единстве. Но это не возврат к старому, скорее — «подъем по спирали».

Многие другие лингвистические теории развиваются, проходя подобные же этапы. Закономерность в развитии теоретической мысли, указанная Ф. Энгельсом, несомненно, не является единственной. Исследование таких закономерностей необходимо.

Часто возникают опасения: не делаем ли мы опасной уступки идеализму, если говорим об определенных закономерностях в развитии мысли, которые не прямо связаны с изменением объекта мысли, а обусловлены самим поступательным ходом исследования? Думается, эти опасения неосновательны.

Существуют законы логики — «синхронные» законы мышления; они, действуя одновременно и вместе, направляют мысль. Эти законы — не автономное порождение мысли как мысли, а своеобразное отражение законов действительности. Положение это достаточно четко развернуто советскими логиками[1]. Следовательно, действительность отражается в понятиях, суждениях, умозаключениях — и в самих законах, по которым эти суждения и умозаключения строятся.

Так же и «диахронные» законы[2], законы смены одних «синхронных» теоретических построений другими, отражают определенные диалектические закономерности действительности. Реальность этих законов — несомненный факт.

*

Практическая деятельность — важнейший стимул развития науки. Но взаимоотношения науки и практики тоже исторически изменчивы. Языкознание, как и другие науки, в истоках своих было чисто прикладной дисциплиной. Этот характер лингвистика сохраняла в России до середины XVIII в. «Российская грамматика» Ломоносова — учебник; цель его — научить правильно пользоваться литературным языком. «Разговор об ортографии» Тредиаковского — по задачам своим — инструкция (весьма объемистая) к составлению алфавита и свода орфографических правил. Неприкладных трудов по языкознанию в те времена еще не существует. Наука выполняет «разовые», для каждого случая узко ограниченные задания практики. Она является собранием рецептов, хотя бы и составленных обдуманно, тщательно, с толком. Таково «прикладное направление, характеризующее младенчество науки» (К. А. Тимирязев).

В дальнейшем связи языкознания и практики перестают быть столь непосредственными и простыми. Заметный перелом наступает в начале XIX в. У П. Соколова, И. Давыдова языкознание все еще представлено жанром учебника или наставления учащемуся. А. Х. Востоков свою «Русскую грамматику» выпускает уже в двух редакциях: сокращенная — учебник; «пространно изложенная» — теоретический труд, не ставящий узко прикладных целей.

Поскольку практика настойчиво и непрерывно напоминает, что научные исследования имеют или будут иметь не сегодня, так завтра деловую, конкретную ценность, постольку научное развитие получает известный кредит: возникают чисто теоретические построения, которые лишь в будущем при каких-то условиях могут оказаться практически полезными. Этот кредит нужен и научному исследованию, и еще более практике: ей уже недостаточно рецептов, нужны всесторонне обоснованные и на-

[1] См. В. Ф. Асмус, Логика, Госполитиздат, 1947, стр. 12 и сл.

[2] Разумеется, слова «синхронные», «диахронные» здесь употребляются до известной степени метафорически (по отношению к соответствующим терминам языкознания).

дежные рекомендации, и ради надежности их необходима разработка многих отвлеченных теорий, которые сами по себе кажутся оторванными от практики.

В 70-х годах XIX в. были разработаны основы фонологии (в трудах Бодуэна де Куртенэ). Это было чисто теоретическое построение, абстракция высокой степени. Практические плоды эта теория принесла через 60 лет; лишь с 30-х годов XX в. она помогает решать вопросы создания новых алфавитов, упорядочения орфографии и т. д. Связь науки с практикой не оборвалась, но стала сложнее. Сложные, многообразные, непрямые, исторически изменяющиеся формы взаимодействия теории с практикой должны быть освещены в курсе «История языкознания». При этом необходимо подчеркивать право науки на «задел», на «абстрактное теоретизирование» — именно оно и даст в конце концов наиболее надежный практический результат.

*

Языкознание взаимодействует с другими науками. Исторически изменчиво и это взаимодействие. В эпоху господства рационалистической, «философской» грамматики лингвистическая наука порабощена логикой. Это — тяжелая зависимость: законы одной науки выкраиваются по мерке другой. Сама эта бесправная зависимость от «ментора» — свидетельство младенчества языкознания. Борьба с логицизмом занимает большой период истории лингвистики.

Во второй половине XIX в. языкознание стало данником психологии; но здесь уже иные взаимоотношения. Вспомним, например, «психологизм» А. А. Потебни. Действительно, А. А. Потебня отдал щедрую дань психологизму. Но пафос[1] его деятельности был определен именно лингвистическими целями; они не были принесены в жертву психологии.

В чем же заключается пафос его деятельности? Потебня показал в своих трудах непрерывную текучесть, бесконечную изменчивость, «постоянное непостоянство» языка. Все время меняется значение слова, каждое новое применение слова — это по существу новое слово; более того: повторение слова в разных контекстах — это уже его существеннейшее изменение; и еще более того: даже единожды произнесенное слово для произносителя и для слушателя — разные единицы. Ярко творчески и своеобразно претворил Потебня в своих трудах положение В. Гумбольдта: язык — не вещь, а деятельность. Язык Потебня изучал в его мгновенных речевых преломлениях, в его непрерывном течении. Исторически изменчивы и слово, и предложение; многообразные следы этой изменчивости обнаруживаются при сопоставлении родственных языков.

Историческое языкознание до Потебни было в значительной степени механистично. Действовали формулы: явление А вытеснено явлением Б; место А заняло Б; А выпадает, освобождая место для Б. Вопрос о том, откуда это «заменяющее» Б и почему оно заменяет, оставался нерешенным или решенным лишь формально (заимствовано из говора, из иного типа склонения и т. д.). У Потебни А «превращается», «изменяется», «п е р е т е к а е т» в Б. Проследить диалектически противоречивое, непрерывно-изменчивое развитие языка — вот та большая задача, которая вдохновляла Потебню-лингвиста. И при выполнении этой задачи естественно было опереться на психологию: во-первых, потому, что психология в ту эпоху овладевала диалектикой последовательнее, активнее, чем языкознание; во-вторых, потому, что непрерывный поток человеческой мысли действи-

[1] Слово *пафос* здесь разумеем в том смысле, какой был придан ему В. Г. Белинским в статьях о Пушкине (см. В. Г. Б е л и н с к и й, Полное собр. соч., т. VII, М., 1955, стр. 311—315).

тельно объясняет многое и существенное в процессе непрерывной изменчивости языка. Для Потебни психологизм был удобной формой, которая позволяла выявить лингвистическое содержание его теории.

Иным был психологизм И. А. Бодуэна де Куртенэ. Идея, объединяющая едва ли не все его работы, — это идея различения синхронности и диахронности в языке («статической» и «динамической» лингвистики, по терминологии самого Бодуэна). Эта идея была продолжением и последовательным развитием исторического языкознания; она означала: одну эпоху развития языка нельзя мерить аршином другой эпохи; необходимо полностью избавиться от представления, что в вечно изменяющейся системе языка остаются отдельные «острова», отдельные неизмененные элементы. Такой взгляд был ранее распространен: язык определенной эпохи рассматривали как конгломерат новых, древних и древнейших явлений. Уже Потебня замечал, что в языке от присутствия нового изменяется и сущность стоящего возле древнего, это древнее обновляется и само становится иным. Дальнейшее развитие этих идей и выдвинуло концепцию Бодуэна.

Где же критерий, позволяющий отделить подлинное живое в языке данной эпохи от мертвого, принадлежащего прошлому? Бодуэн нашел этот критерий в сознании говорящих. То, что доступно и ясно чутью говорящих, принадлежит языку их эпохи. Отсюда — склонность к психологизму, с течением времени все разраставшаяся у Бодуэна. И у него психологизм был формой выявления и защиты лингвистического содержания его теории.

В работах по истории языкознания, к сожалению, обычно обращают внимание только на эту психологическую оболочку, на форму, в которой идет защита лингвистической концепции, а самое существо этой концепции нередко ускользает от внимания. Если в программах по истории языкознания уделена всего одна строчка Бодуэну, то, конечно, сказано только одно: что он психологист. Это считается самым важным. Получается, что подчинение лингвистики логике заменилось таким же подчинением психологической науке. На самом деле это не так: языкознание уже не следует послушно за выводами другой науки, а использует их в своих целях. Но, с другой стороны, психологическая «поддержка» нужна была языкознанию отчасти и потому, что не хватало собственно языковедческого, п о с л е д о в а т е л ь н о-языковедческого обоснования теории. Некоторые ее участки, «пролеты», не выдерживали собственной тяжести, провисали — и вот к ним были подставлены психологические «быки», подпорки. В дальнейшем синхроническое изучение языка было разработано на чисто лингвистической основе.

У Ф. Ф. Фортунатова исследование языка выступает уже без всяких нелингвистических одеяний и оболочек; тем самым открывается путь к свободному и равноправному «кооперированию» наук. Обычное мнение, что и Фортунатов был психологист, — совершенно ложно, оно возникло благодаря тому, что Фортунатова «подравняли» к младограмматикам и приписали ему все младограмматические достоинства и промахи. Ф. Ф. Фортунатов к данным психологии прибегает очень редко, и его теории всегда достаточно обоснованы лингвистически; психологические экскурсы служат или способом популярного разъяснения этих теорий, или косвенным подтверждением их, или раскрытием, истолкованием с психологической стороны специфически языковых закономерностей. Например, определяя предложение, Фортунатов подчеркивает его функциональные отличия: оно не называет, а сообщает; это все разъясняется в популярной «психологической» форме.

В курсе «История языкознания» необходимо отметить разные типы

взаимодействия наук, и — самое главное — надо за внешними формами «психологизма», «биологизма», «этнографизма» видеть внутреннее существо лингвистических теорий.

*

Наша наука издавна развивается, творчески воспринимая и перерабатывая лучшее, что создано на Западе. В рассматриваемом курсе поэтому не обойтись без сжатого анализа деятельности ряда крупнейших зарубежных ученых. Освещая деятельность А. А. Потебни, нельзя не рассказать о трудах В. Гумбольдта. Необходимо подчеркнуть схождения и расхождения с младограмматиками у Ф. Ф. Фортунатова и И. А. Бодуэна де Куртенэ. В своих теориях Бодуэн продолжал не только традиции русского языкознания (А. А. Потебни; М. А. Тулова и П. К. Услара; И. И. Срезневского), но и польского (Мрозинского и др.). Это также должно быть отмечено.

Сопоставления работ отечественных и западных ученых должны быть строго объективны. Слишком много у нас читалось лекций, где все сопоставления своего и «чужого» преследуют одну цель: показать товар лицом. Студентам оставалось на выбор: или признать, что наука развивалась только у нас, или глубокомысленно заключить, что какое ни возьми «наше» исследование —на Западе можно подобрать гораздо хуже.

Строго объективное исследование покажет, что у нас есть чем гордиться, но это же исследование подчеркнет, что творчество русских ученых никогда не было изолировано от западного научного опыта. Оригинальность путей, которыми шли отечественные ученые, в значительной степени обусловлена критическим усвоением опыта западнославянской, германской, французской филологии. Традиции русских и западноевропейских ученых — не две враждующие и взаимоисключающие стихии; они, напротив, взаимодействуют и дополняют друг друга.

А. Х. Востоков, например, подошел к сравнительно-историческому исследованию языков иным путем, чем Бопп и Раск. Бопп, как известно, первоначально ставил себе целью найти в глагольных флексиях индоевропейских языков видоизмененную, преобразованную связку «быть». Это дало бы возможность научно подтвердить тождество суждения (субъект — связка — предикат) и предложения. Глагол-сказуемое оказался бы объединителем логических единиц: связки и предиката. Таким образом, в истоке всех поисков Боппа лежит мысль о соотношениях языка и мышления, суждения и предложения. Решая эту задачу, Бопп далеко отошел от своих первоначальных целей. Раск в первую очередь стремился установить родственные связи ряда германских языков. Все эти цели были чужды Востокову. Он рано сумел преодолеть схемы рационалистической грамматики, сумел отказаться от приравнивания предложения к суждению. Об этом говорит его «Русская грамматика». Определяющим признаком предложения, по Востокову, оказывается наличие спрягаемого глагола — примета вполне языковая, не логицистская. Доказывать родство славянских языков Востоков также не считал необходимым: родство это достаточно очевидно. Цель его была иной — сравнивая языки, определить признаки, особенности некоторых мертвых языков, в частности старославянского. Справедливы слова И. И. Срезневского,что А. Х. Востоков, «никем не предупрежденный, сам собою попавший на прямую дорогу, в то время, когда на западе Европы еще не чуялось свежее дыханье нового исторического направления филологии и языкознания»[1], высказал и обосновал взгляды, исключительно новые для своего времени.

[1] И. Срезневский, Обозрение научных трудов А. Х. Востокова, в кн.: А. Х. Востоков, Филологические наблюдения, СПб., 1865, стр. LV.

Сразу использовав сравнительно-исторический метод по его прямому назначению, Востоков в своих исследованиях стремился к установлению предельно-точных, не знающих исключений фонетических соответствий между родственными языками. Этого требовала сама цель его исследования — установление звуковых особенностей старославянского языка. Встречая исключения, Востоков верно нащупывал некоторые пути к их объяснению. Например, сопоставляя формы род. падежа ед. числа *дoушѧ*, *волѧ* (старослав.) — *duszy*, *woli* (польск.), Востоков предполагает, что польский язык в этих формах «издревле не имел» носового произношения (т. е. предполагает диалектные расхождения в самом общеславянском языке) или «потерял оное». (Как видим, ученому еще чужда была мысль об аналогических изменениях в языке.) Убеждение Востокова в невозможности необусловленных, в одном только слове (или в одном форманте) обнаруженных случайных уклонений от фонетических законов оказало большое влияние на последующее развитие отечественной науки. Эту идею поддержал И. И. Срезневский; его ученик И. А. Бодуэн де Куртенэ превратил ее в строгий принцип исследования (раньше, чем это сделали младограмматики на Западе).

У Боппа и многих других первооткрывателей-компаративистов не было такой строгости в их фонетических сопоставлениях: сама цель исследования не требовала этого; у Боппа она даже мешала такой строгости. Открытие логической связки в глагольных флексиях требовало некоторых вольностей в обращении с фактами. Самое развитие сравнительно-исторического метода у Боппа было постепенным преодолением первоначальных целей исследования.

По словам Томсена, «...хотя Бопп и говорит о характерных для различных языков звуковых переходах как о „физических" законах, но сам все же не признает их таковыми, так как позволяет себе постоянно устанавливать всевозможные исключения из них; в общем он рассматривает эту сторону предмета, подобно Раску, с большой для себя свободой, и она играет у него довольно подчиненную роль»[1].

Большой выигрыш Востокова был, однако, связан и с определенным проигрышем. Точность исследования была завоевана за счет его широты. Востоков ограничился только сопоставлением славянских языков, оставив в стороне все другие индоевропейские, в том числе и языки балтийской ветви. Это, разумеется, во многом обеднило фактические результаты исследования. Недостатки работы, как это часто бывает, оказались прямым продолжением ее достоинств. Было бы неверным, анализируя в курсе лекций деятельность русских языковедов, останавливаться только на преимуществах их работ, оставляя в тени те недостатки, те ограничения, которые внутренне связаны с этими достоинствами и прямо продолжают их.

*

Задачи курса «История отечественного языкознания» велики и тем более трудны, что у нас очень мало полноценных трудов о разных исследовательских школах, о трудах наших языковедов. Нерешенных вопросов накопилось множество — и все требуют серьезного обсуждения. В этих заметках были упомянуты только некоторые — очень немногие — из самых «наболевших» вопросов.

---

[1] В. Томсен, История языковедения до конца XIX века, М., 1938, стр. 61—62.